

ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Б.Ю. НОРМАН

(Белорусский государственный университет,
г. Минск, Беларусь)

МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И ТЕКСТОМ (ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА)

Аннотация: Объектом статьи являются русские формы типа *везомый, байдаркин, скорлупчат, ошибить*. Эти формы потенциально присутствуют в языковом сознании и при этом довольно часто используются в художественных текстах. Потенциальные формы как часть периферии грамматической системы занимают свое место в «пассивной грамматике» носителя языка.

Ключевые слова: грамматическое значение, парадигма, потенциальная форма, пассивная грамматика.

Одной из глобальных языковых антиномий и, соответственно, вечных лингвистических проблем является проблема соотношения языка и речи. Здесь невозможно ограничиться констатацией того, что язык – это сущность, а речь – явление, язык виртуален, а речь реальна, язык системен, а речь структурна, язык принадлежит коллективу, а речь индивидуальна и т.п. Реальная жизнь языка предоставляет нам массу ситуаций, которые требуют специальной интерпретации.

Лингвист имеет дело прежде всего с фактами речи, несомненно принадлежащими языковой системе и хорошо представляющими ее в узусе (о третьей составляющей – норме – мы пока говорить не будем). Ни у кого из нас не вызовут сомнения фразы вроде *Я несу книгу*. Те же факты, которые противоречат языковой системе и не являются типичными для узуса, квалифицируются как явные ошибки, отклонения (ср.: **Я несу книгой, *Книга несет меня* и т.п.). Вместе с тем, есть широкая полоса фактов, допускаемых системой, но не реализующихся в практике речи. Не говорят: «несомая мною книга», «книга несется мной», «мне несется книга» (в смысле ‘кто-то несет мне книгу’)

и т.п. Хотя еще вопрос – если бы подобные фразы встретились в тексте, то доставили бы они затруднения носителю языка, или нет.

Конечно, можно вспомнить здесь обобщающие конклюдзии типа «Ничего нет в языке, чего бы не было в речи» [Адмони 1964: 34]. Но, во-первых, эта сентенция, на наш взгляд, излишне «притупляет бдительность» лингвиста, скрадывает суть упомянутой антиномии, а во-вторых, она, по-видимому, необратима: справедливость утверждения: «Ничего нет в речи, чего не было бы в языке» – весьма сомнительна. Это поворачивает проблему другой стороной, а именно: с какой степенью реальности (распространенности, частоты употребления и т.п.) должен некоторый факт быть представлен в речи, чтобы его можно было признать элементом языковой системы?

В литературе, особенно словообразовательной, уделяется немало внимания фактам, пограничным между «можно» и «нельзя» в языке. Нередко дискуссия упирается в вопрос: «Чем потенциальное образование отличается от окказионализма?» Признается, что потенциальное слово построено по существующей в языке модели, просто оно до поры до времени не востребовано обществом и, присутствуя в сознании, не участвует в коммуникативных ситуациях. «Потенциальное слово – это слово, которое может быть образовано по языковой модели высокой продуктивности (неактуализированное потенциальное слово), а также слово, уже возникшее по такой модели, но еще не вошедшее в язык (актуализированное потенциальное слово)» [Ханпира 1972: 248].

Что же касается окказионализма, то он построен случайным образом, вопреки продуктивной модели, и обслуживает разовую, уникальную коммуникативную ситуацию. «Окказиональное слово – это неизвестное языку слово, образованное по языковой малопродуктивной или непродуктивной модели либо по окказиональной (речевой) модели и созданное как с целью обычного сообщения, обычной номинации, так и с художественной целью» [Там же: 249].

В новейшей литературе предлагается разграничивать словообразовательные «потенциализмы» и окказионализмы на основании целого ряда критериев [Денисова 2008: 24-29].

Допустим, это сглаживает теоретическую остроту проблемы. А как быть с фактами словоизменения? Можно ли к явлениям словоизменительным, собственно грамматическим, применить определение «потенциальное» или «оказиональное»?

Напомним, что для разграничения лексических и грамматических значений принципиально важный признак – «уникальность» («штучность») или «массовость» («классовость») явления, потому что грамматическое значение обслуживает целый класс слов и подлежит обязательному выражению именно в пределах этого множества. По сравнению с ним лексическое значение имеет более индивидуальный характер.

В современной когнитивной теории лексическое и грамматическое значения противопоставляются друг другу в соответствии с особенностями «когнитивной репрезентации». В частности, Л. Талми определяет грамматическую семантику как семантику закрытых классов [Талми 1999: 92]. Это понятно: число лексических значений может легко увеличиваться за счет новых элементов; но множество грамматических элементов в каждый период строго задано и образует концептуальную структуру («рамку») языка.

Одно из ограничений на референцию закрытых классов, по Талми, – «нейтральность по отношению к конкретному представителю. Соотносясь с типами или категориями феноменов, формы закрытых классов не могут относиться к каким-либо отдельным их представителям. <...> В отличие от этого, например, существительные свободны быть как нейтральными, так и чувствительными по отношению к конкретному представителю. В традиционной терминологии это соответственно имена нарицательные, типа *кошка*, и имена собственные, типа *Шекспир* или *Манхеттен*. Таким образом, в языке могут быть имена собственные, но не может быть “предлогов собственных”» [Там же: 105]. В качестве теоретической декларации это вполне приемлемо. Действительно, не должно быть случая, чтобы предлог или падежная форма обслуживала только какую-то одну – разовую, уникальную – ситуацию, это противоречит их природе.

По этой причине мы не можем, допустим, считать, что в современном русском языке наличествует вокатив, или звательный падеж. Описывать с помощью такой граммы единичные

факты речи вроде *человече* или *старче* было бы попросту неэкономным (тем более что они уже утрачивают собственно вокативную функцию). Да и новейшие формы с нулевой флексией (типа *Наташк!* или *дядь Петь!*) имеют весьма узкую лексическую базу. А встречающиеся в текстах примеры вроде следующего проще списать на художественный «креатив»:

Со слов Василь Василича, цепляясь ногтями за эти борозды, можно легко взбежать наверх. **Скалолазко** моё (Слава Сэ. Ева).

Впрочем, здесь вообще можно усмотреть экспансию грамматики среднего рода, характерную для современного Интернет-жаргона, ср. примеры типа *блондинко*, *криведко* и т.п. [Зубова 2010].

Симптоматично, что в последнее десятилетие резко активизировались исследования «нетривиальной грамматики», по выражению Е.Н. Ремчуковой. Речь идет о сравнительно редких словоизменительных и словообразовательных явлениях, явно находящихся в противоречии с литературной нормой, но, кажется, обоснованных самой системой языка.

В частности, М.В. Всеволодова обратила внимание на использование в русских текстах страдательных причастий прошедшего времени на *-им*, *-ем*, *-ом*. Правила их образования даются в грамматиках довольно сложно, и обычно с оговоркой о лексических ограничениях. М.В. Всеволодова не только значительно упрощает практический алгоритм образования этих форм, но и приводит массу реальных, хотя и не вполне привычных, на первый взгляд, примеров из текстов, вроде *президент, не беромый наркозом; кинжал, кладомый между мужчиной и женщиной, пекомый горячим солнцем* и т.п. Добавим и мы к этому два примера:

Стоящие кругом солдаты тоже ухмыляются: ухмыляется секущий, чуть не ухмыляется даже **секомый**, несмотря на то, что розга по команде «поднеси» свистит уже в воздухе... (Ф.М. Достоевский. Записки из Мертвого дома).

Время от времени в наш переулок приезжал огромный фургон, **везомый** парой упитанных лошадей (Ю.А. Федосюк. Утро красит нежным светом...).

Наблюдения над подобными фактами служат основанием для следующего вывода. «Само употребление причастий – факт оп-

ределенного уровня владения литературным языком. И если они есть, значит, они нашей речью востребованы» [Всеволодова 2012: 45]. А весь пафос ее статьи сводится к призыву создавать «объективную грамматику» русского языка, отражающую факты реальной русской речи.

Другой, не менее интересный факт русской «объективной грамматики» – притяжательные прилагательные: *отцов, те-тушкин, курицын, лисий* и т.п. Т.В. Шмелева напоминает, что в свое время В.В. Виноградов характеризовал состояние данного класса слов как «вымирание», «угасание», «непродуктивность» и т.п. и заключал с категоричностью приговора, что судьба их «лишена перспектив» [Виноградов 1947: 200]. И надо сказать, что затем грамматики в течение нескольких десятилетий относились к этим формам соответствующим образом, как бы не замечая их. Вместе с тем, современные тексты демонстрируют довольно свободное образование притяжательных прилагательных, причем не только от названий человека и животных. Приведем наши примеры:

Таковы были все эти закулисные интриги, и королева каждый день выслушивала **уборщицыны** крики и проклятия... (Л. Петрушевская. Принц с золотыми волосами).

Через месяц в **тарасюковскую** дверь позвонил **немцев** докторант, приехавший в Ленинград с тургруппой (М. Веллер. Легенды Невского проспекта).

Он видел со стороны **манекенью** спесь своей нелепо вытянувшейся фигуры, но удержался от усмешки, считая ее дурным тоном (Ю. Нагибин. Смерть на вокзале).

Потолкавшись меж гражданских поближе, он сумел, однако, рассмотреть фрагменты: зеленое крашеное железо пушки, дутые, как на «опеле», новые резиновые шины ее и **пушкин** щит со щелью у ствола для наводки (Э. Лимонов. ...У нас была великая эпоха).

...Они ползали на четвереньках, складывая и раскладывая, ставя какие-то заплатки, и совали по частям гладкое противное **байдаркино** тело в таз с водой, вскрикивая: «Течет! Не течет!» (Т. Толстая. Охота на мамонта).

Отмечая особенную активность притяжательных адективов в сфере топонимики и антропонимики, а также экспрессивной и

детской речи, Т.В. Шмелева пишет: «В 1947 году невозможно было предположить, что в культурную и речевую практику вернется многое из того, что тщательно изгонялось. Вряд ли можно было себе представить, насколько свободными и изобретательными будут журналисты в XXI веке, как они научатся работать с прецедентными текстами и воспринимать свой текст в режиме интертекстуальности...» [Шмелева 2008: 369].

Добавим, что, возможно, «живучесть» данных форм косвенно поддерживается активными реминисценциями пословицы *Богу – богово, а кесарю – кесарево*. Правда, в составе этих выражений притяжательные прилагательные всегда употребляются в форме среднего рода и всегда в позиции сказуемого, но это ничего не меняет. Вот несколько примеров из нашей картотеки.

Богу Богово, а мужику всегда **мужиково** (В. Астафьев. Затеси).

Дикобраза не алчность одолела. Да он по этой луже на коленях ползал, брата вымаливал. А получил кучу денег, и ничего иного получить не мог. Потому что Дикобразу – **дикобразово!** (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Сталкер).

Но зачем вину верблюда брать на себя? Отдадим каждому свое: железной дороге – **дорогово**, верблюду – **верблюдово** (А. Рубинов. Откровенный разговор в середине недели).

В словаре шуточных переделок «Антипословицы русского народа» зафиксированы (на «стимул» *Богу – Богово, а кесарю – кесарево*) такие образования, как *Рафаэлево, графоманово, детективово, любителево, слесарево* и т.п. [Вальтер, Мокиенко 2005].

Очередной класс русских словоформ, представляющих в данном плане интерес, – это краткие формы прилагательных. Как известно, данные формы употребляются обычно в позиции сказуемого, но при этом они образуются только от качественных прилагательных, и то не от всех (учебники и пособия дают целый список качественных прилагательных, употребляющихся только в полной форме). Однако практика речи показывает нам несколько иную картину. Носитель языка довольно свободно создает и воспринимает краткие формы, образованные также от относительных прилагательных. Примеры:

Я стою **хмелен** и одинок,

Будто нищий над своею шапкой...

(А. Тарковский. Актер).

С другой стороны, народ **гостеприимен** и **хлебосолен** (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Сказка о Тройке).

Городская ночь была глуха, фонари **бессонны**, дождь лил как из ведра... (А. Ким. Белка).

Телеграфист **одиочен**. Наст **скорлупчат**. Дыхание **полнолуно**. <...> Мирколица **синеснежна**, **скуласта** (М. Шишкин. Венерин волос).

Тем не менее та культура кончилась и наступила другая. Культура стала **лоскутна**, **цитатна** (Л. Улицкая. Зеленый ша-тер).

Очевидно, функция сказуемого оказывается в данной ситуации психологически важнее, сильнее для носителя языка, чем собственное лексическое значение адъектива. (Могут быть и другие факторы, стимулирующие образование краткой формы – в частности, положение прилагательного в сочинительном ряду.) И противопоставление качественного разряда прилагательных относительно, как мы видим, здесь «не срабатывает» (тем более, что и в других отношениях это деление размывается).

Еще одна сфера потенциальной грамматики русского языка – это каузативные отношения. Существуют языки, в которых каузатив – обычная морфологическая категория, со своими регулярными формами. В русском литературном языке, согласно норме, каузативные отношения выражаются нерегулярно и различными способами: фонематическим (*пить* – *поить*, *сохнуть* – *сушить*), лексическим, или супплетивным (*проспать* – *будить*, *приходить* – *приводить*), аналитическим (*работать* – *заставлять работать*), синтаксическим (*бунтовать* – *бунтовать кого*), морфологическим, с помощью нулевой морфемы (*обижаться* – *обижать*, *гнуть* – *гнуть*). Это, так сказать, «штучный» отдел грамматики. Понятно, что каузативная ситуация характеризуется большей семантической сложностью, чем некаузативная, фактически она воплощает в себе сложение двух пропозиций. (Одна из них – ‘кто-то делает так, чтобы...’.) Скажем, *Конюх поит лошадь* значит ‘конюх делает так, что лошадь пьет’. Однако важно, что из перечисленных выше способов два последних обнаруживают в современной речи небывалую активность, что позволяет говорить о том, что каузативность в

сознании носителя языка представляет собой «системообразующий смысл» (Ю.Д. Апресян).

Одна возможность «естественным образом» выразить каузативные отношения – это окказионально придать непереходному глаголу прямой объект, ср.:

...Эдик Амперян спрашивал, Роман Ойра-Ойра отвечал; а я, не теряя драгоценного времени, **загорал** себе **подмышки** (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Сказка о Тройке).

Я ведь не кричу жене: перестань **болеть** свои **зубы**! Потому что это не гуманно (Ю. Казарин. Пловец).

– А вас давно объединили?

– Не говори, дорогой, **нищих примкнули**, – говорит он брезгливо (Ф. Искандер. Созвездие Козлотура).

Так, за что пьем? За все хорошее. Ура. Хорошо пошла. Наливай, не **дрожь бутыл** (Д. Драгунский. Плохой мальчик).

Сочетания *загорать подмышки*, *болеть зубы*, *примкнуть нищих*, *дрожать бутыл*, при всей своей необычности, реализуют некоторую естественную и глубинную интенцию носителя языка.

Вторая возможность выразить каузативные отношения – это отнять у возвратного глагола его возвратный аффикс. Примеры такой окказиональной дерефлексивации:

А ведь научить человека выражаться грамотно почти невозможно. Еще иностранца **насобачить** полбеда, он зубрежкой возьмет (Л. Петрушевская. Находка).

...Бабушка сунула мне под нос картонку с новыми уроками, пообещала, что если я сделаю ошибку, то она меня так **ошибет**, что люди будут ошибаться, принимая меня за человека... (П. Санаев. Похороните меня под плинтусом).

Лишнее тому подтверждение этот самый кружок: или его **«распали»**, или он сам распался, но только никто уже и не помнит, чего они там все хотели (Ф. Незнанский. Ищите женщину).

Понятно, что *насобачить* возникло способом обратного словообразования из *насобачиться*, *ошибить* – из *ошибиться*, *распасть* – из *распасться*. На фоне уже кодифицированных, включаемых в словари *влюблять* (кого-то), *подружить* (кого-то) и т.п. данные новообразования смотрятся вполне приемлемо.

В разговорной речи подобные образования уже давно заняли свое место (ср. *поступить сына в институт; не он ушел, а его*

ушли; кто девушку ужинает, тот ее и танцует и т.п.). Присутствие же их в художественной литературе оправдано уже тем, что здесь это яркое стилистическое средство, наделенное экспрессивной и эстетической функциями, ср. [Чудинов 1985: 36-37; Норман 2006: 162-165 и др.].

Иногда такое расширение круга каузативных глаголов, выходящее за пределы литературной нормы, квалифицируют однозначно как речевую ошибку. Но думается, что считать так – значит сильно упрощать реальную картину. Л.В. Щерба писал о подобных случаях, что «все эти ошибки социально обоснованы; их возможности заложены в данной языковой системе» [Щерба 1974: 36]. Именно относительная регулярность использования двух упомянутых способов выражения каузативных отношений – синтаксического и морфологического – позволяет нам отнести данную категорию в русском языке к сфере **потенциальной грамматики**. Это та область, к которой применима общая сакраментальная формулировка: «Можно ли так сказать? Можно. Но так не говорят».

Конечно, перечень явлений «объективной грамматики», которые нечасто попадают в поле внимания лингвистов, на этом не кончается. Можно было бы в таком же ключе поговорить о безличных формах, образуемых с помощью возвратной морфемы (*Мне не пишется, не читается; Ах как ромашкам бредится...* и т.п.) или о «запрещенных» деепричастных образованиях от глаголов типа *писать, душишь, бить, пить, звать, рвать* и т.п. Все эти случаи, лежащие «между языком и текстом», несомненно, заслуживают теоретического осмысления.

Смягчение цензуры на постсоветском пространстве ослабило редакторские тормоза, и все чаще подобные факты попадают на страницы печатных изданий. Не пропускаемые в дверь литературной нормы, они, так сказать, явочным порядком лезут в окно – вторгаются в тексты! Неудивительно, что и лингвисты стали активнее затрагивать в своих работах сферу потенциальной грамматики. В частности, в книгах [Ионова 1988; Зубова 2000; Ремчукова 2005 и др.] исследуются грамматические факты, не вполне соответствующие литературной норме. При этом, естественно, затрагиваются и серьезные теоретические вопросы – такие, как: насколько грамматика вообще является предметом

рефлексии носителя языка? Где проходит граница между словообразованием и формообразованием? Как соотносится потенциальность и архаичность языкового явления? Есть ли пределы в образовании видовых пар? Не превращается ли род существительных из классификационной в словоизменяющую категорию? В чем суть игры с грамматическим числом? и т.п. Показательны в данном отношении также две вышедшие в Екатеринбурге коллективные монографии под единым названием «Лингвистика креатива» [2009; 2012]; на англоязычном материале см. также [Carter 2006].

Итак, грамматика не должна иметь дело с единичными фактами, ее область – классы явлений. Известно, что грамматическая категория строится как система оппозиций, в которых каждая граммема занимает свое собственное место. Грамматические значения не делятся на «исходные» и «производные». Конечно, противопоставление грамматических значений может быть описано в виде привативной оппозиции, с маркированным и немаркированным членом, но такое представление в значительной степени условно, произвольно [Булыгина 1968: 220]. И если какая-то словоформа принимается в парадигме слова за исходную, «репрезентативную» (например, именительный падеж для существительного, инфинитив для глагола), то это чаще всего дань научной традиции. В частности, именительный падеж только тем «лучше» дательного или творительного, что в чистом виде реализует идею номинативной функции: существительное по своей природе – инструмент классификации мира! «Номинативность есть способ борьбы с безумием» (П. Вайль. Гений места).

Вместе с тем, при всей своей теоретической равноположенности, граммы предстает в речи далеко не равноправными. Они, как известно, характеризуются разной частотой употребления, разной шириной лексической базы, на которую опираются при своей реализации, нередко также жанрово-стилевыми условиями употребления и т.д. Это создает теоретическое основание для различения «центра» и «периферии» грамматической системы. Данные понятия, как известно, производны от полевого понимания языковых структур. Периферийную часть грамматического поля истолковывают по-разному, для ее описания используют такие признаки, как «некатегориальность», «контек-

стуальная и лексическая обусловленность», «разнотипность используемых формальных средств», «уменьшение функциональной нагрузки», «меньшая употребительность» и т.п., ср.: [Гухман 1968: 172-174; Бондарко 2005: 180-181 и др.].

По-видимому, и рассмотренные выше образования не могут быть отнесены к центру грамматической системы: для этого они недостаточно значимы в функциональном отношении, обременены стилистической коннотацией, испытывают конкуренцию со стороны других средств и, наконец, не слишком частотны. Однако если в словообразовании имеет смысл различать «потенциализмы» и окказионализмы, то грамматические значения, как уже говорилось, носят «классный» характер: уникальных фактов здесь быть не может. Рассмотренные выше факты носят именно потенциальный характер.

Кроме того, если рассматривать явления «потенциальной грамматики» с точки зрения речевой деятельности, в динамическом аспекте, то следует признать, что эту сферу речи образуют факты, в принципе возможные, но не употребительные, находящиеся в пассиве носителя языка. А это приводит нас к известному разграничению, предложенному в свое время Л.В. Щербой: к различению активной и пассивной грамматики [Щерба 1974: 48-56]. Первая из них отражает путь говорящего от смысла к тексту, вторая – путь слушающего от текста к смыслу. Действительно, грамматика – не столько сбор правил, сколько действующий механизм. И интересующие нас факты потенциального формообразования – это то, что скорее опознается и семантизируется условным среднестатистическим носителем языка, чем непосредственно им производится.

Психолингвистика не довольствуется гипотетическими построениями и ничего не должна принимать на веру, это экспериментальная наука. Но в нашем случае носитель языка сам ставит эксперимент (в понимании Л.В. Щербы) с грамматическими значениями из сферы своей пассивной грамматики. Регулярность или, во всяком случае, распространенность рассмотренных фактов позволяет нам это утверждать.

ЛИТЕРАТУРА

Адмони В.Г. Основы теории грамматики. – М.-Л., 1964.

Бондарко А.В. Теория морфологических категорий и аспектологические исследования. – М., 2005.

Булыгина Т.В. Грамматические оппозиции // Исследования по общей теории грамматики / Отв. ред. В.Н. Ярцева. – М., 1968.

Вальтер Х., Мокиенко В.М. Антипословицы русского народа. – СПб., 2005.

Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). – М.-Л., 1947.

Всеволодова М.В. К вопросу об объективной грамматике // *Urbī et Academiāe.* Граду и научному сообществу (Архив гуманитарного знания. № 1 (3)). – СПб., 2012.

Гухман М.М. Грамматическая категория и структура парадигм // Исследования по общей теории грамматики / Отв. ред. В.Н. Ярцева. – М., 1968.

Денисова Э.С. Особенности речевого и ментального функционирования окказионального слова (на материале газетного дискурса). – Томск, 2008.

Зубова Л.В. Современная русская поэзия в контексте истории языка. – М., 2000.

Зубова Л.В. Ироническая грамматика: средний род в игровой неологии // Вопросы языкознания. – 2010. № 6.

Ионова И.А. Морфология поэтической речи. – Кишинев, 1988.

Лингвистика креатива. Коллективная монография / Отв. ред. Т.А. Гридина. – Екатеринбург, 2009.

Лингвистика креатива. Коллективная монография / Под общ. ред. Т.А. Гридиной. – Екатеринбург, 2012.

Норман Б.Ю. Игра на гранях языка. – М., 2006.

Ремчукова Е.Н. Креативный потенциал русской грамматики. – М., 2005.

Талми Л. Отношение грамматики к познанию // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. – 1999, № 1.

Ханпира Э. Окказиональные элементы в современной речи // Стилистические исследования (на материале современного русского языка). – М., 1972.

Чудинов А.П. Каузативные глаголы в художественной речи // Слово в системных отношениях на разных уровнях языка. – Свердловск, 1985.

Шмелева Т.В. Притяжательные прилагательные: почему не сбывается виноградский прогноз? // Инструментарий русистики: корпусные подходы (Slavica Helsingiensia, 34). – Helsinki, 2008.

Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974.

Carter R. Language and Creativity. The art of common talk. – London/New York, 2006.